



ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ

Две статьи

«<...> Чуть-чуть обидно, что Вячеслав Иванов не высказался о Пушкине «вообще», «по-существу». <...> Опасаюсь, поймут ли читатели, умственно сложившиеся уже после войны <...> почему к Вячеславу Иванову так повышена требовательность. В последние годы он мало печатал. Для многих он уже отошел в историю. Имя, конечно, известно, но уже не совсем «действенное». Имя, скорее отпугивающее демонстративной торжественностью позы, безотчетным высокомерием к литературной повседневности, великой и разнообразной ученостью — и увы, как часто бывает: поощрением эпигонства и пренебрежением к новизне... Вячеслав Иванов, по убеждению нашей писательской молодежи, «сыграл роль» и добровольно отошел в сторону.

На это многое бы надо возразить, а прежде всего, вот что: писатель, когда либо «игравший роль», действительно, без очковтирательства и одурачивания современников, играет ее до конца дней. Рано или поздно это открывается, к стыду тех, кто торопится со «сдачей в архив». То, что Вячеслав Иванов не участвует в наших случайных спорах и не посещает наших местных собраний, не имеет никакого значения. Он продолжает писать, мыслить — и, наверное, участвует в духовной жизни эпохи, пусть даже отталкиваясь от нее. Можно, конечно, сказать, что весь его «багаж» устарел. Но тогда надо быть последовательным: надо признать устарелым все, что делалось в русской поэзии от Фета до футуристов, и не только устарелым, но и вообще раздутым, лживым, пустяшным ... Кривляния, ломания, фиглярства, бессовестного литературного мошенничества было, правда, хоть отбавляй. Но ведь было и *другое*, и все это *другое* признали Вячеслава Вячеслава Иванова своим учителем. Русский символизм до него

распадался на чисто эстетическое течение, возглавлявшееся Брюсовым, и «религиозно-философское», шедшее от Мережковского. Он, Вячеслав Иванов, поставил, так сказать, Брюсова на место и преобразил всегда враждебные к искусству намерения Мережковского — он дал то углубленное представление о поэзии, которое приняли без колебаний и Блок, и Белый. Именно от его отношения к поэзии и возник его авторитет: формально Брюсов был, пожалуй, большим «мастером», но Брюсов меньшего хотел. Брюсов учил писать хорошие стихи, а Вячеслав Иванов мечтал писать стихи так, чтобы изменилась жизнь... Даже Гумилев, убежденнейший последователь Брюсова, это признавал и чувствовал. Он нередко на Вячеслава Иванова негодовал (вспоминаю случай, когда тот, публично восхитившись бледными виршами Пяста, снисходительно поморщившись, разобрал потом, как «довольно любопытный» опыт, великолепнейшее стихотворение Осипа Мандельштама о Расине: на Гумилеве лица не было!), но именно потому, что слишком его ценил, потому что знал, как затемняют иногда разум случайные дружеские пристрастия. Гумилев называл «Манеру, лицо, стиль» — статью, помещенную в сборнике Вячеслава Иванова «Борозды и межи» — «самым замечательным, что на русском языке о поэзии написано». Статья полузабыта. Думаю, кто перечтет ее, согласится, что Гумилев был недалек от истины. Неважно, приемлемо ли то или иное предложение. Важна исходная точка зрения, подход, принцип. Оттого и хотелось бы знать мысли Вячеслава Иванова о Пушкине, что он «Манеру, лицо, стиль» когда-то написал.

Статья в «Современных записках» отмечена усталостью или, может быть, рассеянностью... У меня нет под руками «Нежной тайны», но, помнится, в предисловии к этому сборнику Вячеслав Иванов писал, что «слишком долго и пристально вглядываясь» в сущность поэзии, он «разучился понимать, что это такое». С Пушкиным, впрочем, мы все в таком положении. Интересны и глубокомысленны отдельные замечания. Целое, однако, бледновато и проникнуто той благодушной умиленностью, беспредметной и сладковатой восторженностью, которая нередко сопутствует упадку сил. <...> Вячеслав Иванов сначала высказал несколько соображений о «романе в стихах» — о «Евгении Онегине» — затем о «двух маяках», светивших Пушкину: о «непостижимом видении красоты, воссиявшей в душе поэта» и о его «веры в святость, в действительность святой жизни избранных

людей». В первом очерке характерно то, что автор явно оживляется, едва только касается Байрона, а с Пушкиным как будто скучает. Вячеслав Иванов дает, впрочем, его краткую характеристику, которую стоит привести.

«Во многом разочарованный и многим раздраженный, вольнолюбивый и заносчивый, дерзкий насмешник и вольнодумец, он, в самом мятеже против людей и Бога, остается благодушно свободен от застоявшейся горечи и закоренелой обиды. К тому же не был он ни демиургом грядущего мира, ни глашатаем или жертвою мировой скорби. Над всем преобладали в нем прирожденная ясность мысли, ясность взора и благодатная сила разрешать, хотя бы ценою мук, каждый разлад в строй и из всего вызывать наружу скрытую во всем поэзию, как некоторую другую и высшую, потому что более живую жизнь. Его мерилami в оценке жизни, как и искусства, были не отвлеченные построения и не самодержавный произвол своего я, но здравый смысл, простая человечность, добрый вкус, прирожденный и заботливо возделанный, органическое и как бы эллинское чувство меры и соответствия, в особенности же изумительная способность непосредственного и безошибочного различения во всем — правды от лжи, существенного от случайного, действительного от мнимого».

Строки эти значительнее и тяжелее в своем «удельном весе», чем на первый взгляд может показаться. Они, в сущности, сходятся с традиционной, квази-наивной оценкой Пушкина — и подтверждают ее: «ясность мысли», «ясность взора», «чувство меры», «благодатная сила разрешать каждый разлад в строй» — все, над чем в последнюю четверть века считалось хорошим тоном подсмеиваться. Но Вячеслава Иванова никто не заподозрит в наивности или излишнем доверии к Незеленову с Сиповским¹. Уж он то Гершензон читал и понял наверно, и если и отверг, то не потому, что не дошел до него, а потому что ушел дальше. Гершензон, как бы остроумен и умственно оригинален он ни был, именно не отличал «правды от лжи, существенного от случайного, действительного от мнимого». Гершензон был природным выдумщиком. Вячеслав Иванов — будто мысленно продолжая в приведенных выше строках «Переписку из двух углов» — наводит порядок в его хаотическом мире и «опроцает» Пушкина, снимая наброшенные на него покровы. Едва ли это внушено только «умилением», «просветлением», «благодушием», всем тем, что сопряжено, конечно, с отказом от всякой «изошценности»...

Тут сказался и ум, которому скучны идейные игры, которому дорога истина, независимо от того, кто первый ее открыл.

В «Евгении Онегине» Вячеслав Иванов усматривает обличение «греха уныния — одного из смертных грехов» <...>

Вылавливаю из статьи Вячеслава Иванова строки, имеющие широкое значение и ценность литературную. К ним можно отнести и указание, что присутствие красоты в мире было для Пушкина «ручательством за общий смысл смерти». Это очень метко, очень верно: во вскользь брошенном замечании сказано очень много. <...> Вопросы о религиозности поэта Вячеслав Иванов касается крайне осторожно — и даже уклончиво. Он согласен, однако, признать, что Пушкин «верил в бытие Бога *не в силу собственного опыта*» <курсив Адамовича>.

«<...> Толкователи Пушкина привыкли видеть в его «Пророке» идеальный образ Поэта. Нет ничего менее согласного со всем строем пушкинской мысли, чем это смешение двух в корне различающихся понятий и типов. «Пророк есть образ целостного и окончательного перерождения личности, которое в некотором смысле равносильно смерти. Избранник становится безличным носителем вложенной в него единой мысли и воли. *Если б он раньше был художником, то, конечно, перестал бы им быть*» <курсив Адамовича>.

Читаешь такие строки — и ждешь обострения мысли, углубления темы: вот-вот сейчас «начнется». Но снова вступают в права пышные и звучные периоды, обволакивающие все, как ватой, снова ум тонет в нарочитом благолепии образов и эпитетов.

Сомнение: может быть, Вячеславу Иванову не совсем «по себе» лицом к лицу с Пушкиным? Может быть, он не чувствует родства с ним? У нас отношение к Пушкину настолько условно, что *a priori* почти исключается возможность этого. А сомнение, ведь, не лишено основания. Оно правдоподобно. Оно поддерживается даже словами автора статьи — о «возделывании рая искусств».

Но оставляю догадку без развития. Иначе пришлось бы уйти далеко вглубь — и коснуться того, что связывает Пушкина с прошлым, и что обращает к будущему.

1938

